

ПОЭТ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЙ ТРЕЗВОСТИ

Независимая газета
1996. — 16 янв. — с. 7

Сергей Гандлевский: «Если сегодня кто-то встанет на Красной площади с плакатом, никому до него не будет дела»

Сергей Шаповал

Рефлексия

СЕРГЕЙ, вы уже два года работаете в журнале «Иностранная литература». Как вы себя чувствуете в новой для себя ситуации?

— Поначалу служить мне было странно. Какое-то время я считал, что мне не повезло, потому что несколько моих товарищей так или иначе жили от писательства. Произошла неожиданная рокировка: они служили при советской власти, я был вольным художником и богемой. А в ситуации свободы богемой стали они, а я — служащим. Но я достаточно быстро привык к новой работе и не унываю. Иногда сам себе удивляюсь, насколько я доволен этой стороной своей жизни...

— У вас появилось еще одно занятие: преподавание в «Школе современного искусства». Есть основание ощутить себя мэтром?

— Я думаю, что ни у меня, ни у большинства людей из бывшего подполья не возникает психологии мэтра. Нас жизнь очень долго мариновала в подростковом состоянии, когда мы были уже далеко не подростками. Надо быть очень тщеславным и жадным до успеха, чтобы потерять лицо в случае неожиданной удачи. Среди моих товарищей таких людей нет. Надеюсь, и меня Бог миловал. Наоборот, приходится делать усилие и напоминать себе, что ты вошел в ту пору, когда тебе все трудней становится кого-то критиковать, потому что всегда рядом найдется человек, который скажет: ну сделай лучше в таком случае... Я не очень самоуверен, и первой реакцией на предложение преподавать было желание отказать. Я тогда себя спросил: у тебя же не хватит самообладания не злословить, если на этом месте окажется человек, деятельность которого ты осуждаешь и считаешь эстетическим шарлатанством? Значит, нужно брать и нести ответственность за успех или неуспех этого предприятия. Это было решение не литератора, а человека, которому за сорок.

И еще один момент. Все мы были немного испорчены длительной изоляцией и общением с 8—10 единомышленниками. Это избавляло нас от необходимости аргументировать свои мысли. Когда все вокруг тебя к главным вопросам бытия относятся примерно одинаково, достаточно жеста, намека, междометия, чтобы тебе в ответ закивали: да, все понятно... Теперь я прихожу к молодым людям, которых я не знаю, но я знаю точно, что они представляют совершенно другую формацию. Поэтому все свои полуфразы, полуощущения я вынужден выговаривать, аргументировать, от каких-то отказываться, в каких-то убеждаться лишней раз, проверяя свое познание сознания.

— Ваша жизнь стала более размеренной, добропорядочной и поэтому менее драматичной, насыщенной событиями...

— Я только смолodu думал, что поэт должен искать приключений и нервотрепки для того, чтобы писать стихи. Со временем понял, что такие целевые поиски приключений — занятие предосудительное и не очень целомудренное. В этом есть недоверие к жизни, к тому, что жизнь как таковая, если ее не тряссти, может давать сильные впечатления. Все зависит от человека, готов ли он испытывать от жизни волнение или нет... Иннокентий Анненский заметил, что Гончаров пропал вокруг света и главным его впечатлением было то, что в Африке не подуют щей. А у Тургенева дверь стукнула, и он написал целый рассказ о своем страхе.

— В ваших ранних стихах ощущается неподдельная грусть и отнюдь не юношеское отношение к жизни...

— Человек что-то знает про себя уже в подростковом возрасте. У каждого из нас есть какое-то настроенческое ампула. Например, Бродский разочаровался в 17—19 лет, когда, по годам судя, он не имел реальной возможности в чем-либо разочаровываться. Тогда его могли упрекать в том, что он интересничает. И вот прошло почти сорок лет, и он своей жизнью доказал, что на такой скепсис и невеселый взгляд на жизнь имеет право.

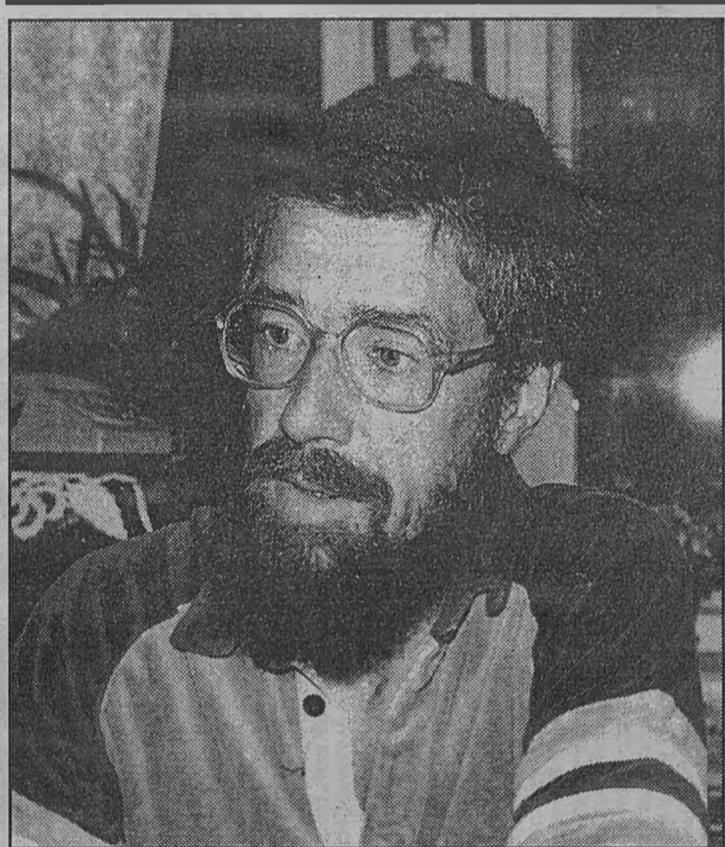
— Я хочу напомнить одно ваше высказывание о Бродском. Его стихи вызвали у вас ассоциацию: человек работает у станка, потом отходит покурить, а станок продолжает работать сам по себе...

— Я не отказываюсь от своих слов. Стихи Бродского состоят из двух частей: из той, которые возникли, когда он отошел покурить, и они мне не нравятся. Но когда он вернулся после перекура, стихи его оживают, и мне они нравятся. Бродский меня как читателя озадачивает, но с годами я стал уважительнее относиться к чужим внутренним режимам. Может быть, если бы он не работал в таком режиме, он не написал бы свои лучшие стихи. Может, эти поддерживает его в форме... Правда, мы смотрим показательные выступления, а не тренировки, ходим на спектакли, а не на сорок репетиций. Возможно, Бродский принадлежит к тем поэтам, которые не отличают поражения от победы. Блока, скажем, подряд читать невыносимо, а Ходасевича — можно. Мои суждения тем не менее не мешают мне признавать стихи Бродского шедеврами. Например, «Осенний крик ястреба», любовную дирику.

— Вы совершили рискованный

Из досье «НГ»

Сергей Гандлевский (р. 1952) — поэт и переводчик. Окончил филологический факультет МГУ. Входил в поэтическое объединение «Московское время» и группу «Альманах». Выпустил сборники стихов «Расказ» (1989), «Праздник» (1995)



Сергей Гандлевский.

Для поэта шаг: написали повесть.

— У поэтов есть известный комплекс неполноценности, чувство, что прозаики — это серьезные писатели, а стихи — что-то ненадежное, от случая к случаю, и слишком зависит от состояния души. В этом есть некоторая женственность, которой поэты, как правило, стесняются. Я сужу по себе и по знакомым: не могу назвать поэта, который втайне не мечтал бы написать прозу. При всей родовой поэтической спеси такое поэтажное желание есть, и я здесь не исключение. Когда я от головы РЕШАЛ писать, у меня получалось скверно, и никто, кроме меня, об этих начинаниях не знал. А когда мне приспичило написать прозу, я ее и написал. Я вдруг увидел, что самому очень интересно описывать и додумывать какие-нибудь истории на основании своей жизни. Увлекательным становится то, что сам делаешь с увлечением, как Том Соьер красил забор.

— Что-нибудь интересное из прозы попадалось вам в последнее время?

— С годами я становлюсь все более плохим читателем. Я по-прежнему люблю читать, но мне неинтересно, когда через несколько страниц становится понятно: а, это все выдуманно... Единственно, где я могу читать вымысел, это книги старых мастеров. Скажем, «Войну и мир» недавно перечитал. Мне стали нравиться чужие дневники. Залпом прочел дневники Корнея Чуковского, причем заметил, что с почти равным интересом я читал и истории о значимых людях, и о том, какие таблетки он принимал на ночь. Сейчас я читаю книгу Стеллы Абрамович «Пушкин в 1833 году»: хронику его будней изо дня в день. В конце концов я, наверно, приду к тому, что буду с интересом читать чью-то перевернутую вверх ногами квитанцию в прачечную. В этом смысле мне все ближе становится творчество Льва Рубинштейна, которое основано на отрывочности и наружной бессвязности. Изнутри накопилось столько извести, столько мировоззрения, что все невыносимей становится, когда какой-нибудь автор кладет тебе руку на плечо. Все-таки любое произведение с вымыслом — это чья-то концепция, рука на плече, которую хочется стряхнуть. А совершенно рассыпающиеся, ни к чему тебя не обязывающие и ничего не навязывающие писания — вроде хроникальных, документальных наблюдений или того, чего добился Рубинштейн в своей манере письма, — к моему теперешнему состоянию подходят больше всего. Ну а что будет дальше, я не знаю...

— Вы русский поэт, ключевник классической русской литературы. Как вы относитесь к убеждению «почвенников» в уникальности русской духовности и культуры, способной вывести Россию на особый путь развития?

— Я думаю, что человек состоит из двух частей: из тех параметров, в которых он родился (раса, нация, пол, сословие), и из того, что он сам из себя представляет. Независим и самостоятелен он в той мере, в какой даровые параметры не определяют его мышление и мироощущение. С этой точки зрения, ни русским, ни России никакого особого поприща без их ведома не назначено. Обобщения годятся лишь для всякого рода словопроений. Руководствоваться обобщениями в реальной жизни в лучшем случае бесполезно, а чаще вредно. Например, человек устроил вчера припадок, перебил всю посуду и носился за домашними с топором, и если даже окружающие верят в его исключительность, лучше ему не делю-другую об исключительности не говорить, а стараться повернуть его к общепринятым нормам обще-

и участвовал в известном альманахе «Личное дело» (1991). Критики называют его «современным Ходасевичем» — за тягу к классической ясности и сентиментальную трезвость. В 95-м дебютировал как прозаик автобиографической повестью «Трепанация черепа» («Знамя», 1995, №1; см. рецензию в «НГ» от 22.03.95).

жителя... Я люблю свою страну и именно поэтому пожелал бы ей лет 200—300 пожить в обличье смиренных Голландии или Бельгии. Своеобразие этого не убудет, если оно действительно есть. А куража поубавится.

Очень трудно уловить ту грань, когда вполне правомочное представление о собственной исключительности — как у каждого человека, так и каждого народа — переходит в представление о превосходстве. Я не могу привести примеров даже среди великих мыслителей и писателей (Достоевский тому подтверждение), сумевших удержаться на грани, когда это не превращается в коммуналную ксенофобию.

Демократия и либерализм не могут быть мировоззрением. Это те общественные гигиенические нормы, которые гарантируют от эпидемии. Я понимаю, что в споре «почвенников» с «демократами» первые всегда выглядят убедительнее. Почвенничество — это связанное мировоззрение, а демократия — ритуал, политес. Но соблюдение этих норм поведения, в частности, представляет возможность «почвенникам» вслух говорить о своем, кому-то еще — о своем.

— До сих пор не прекращаются споры о том, позитивно или пагубно сказалось на духовной стороне жизни появление такого количества свобод...

— Мне не кажется, что существует жестко действующий механизм: мало свобод — слово весомо, много свобод — слово невесомо. В России стало много свобод, и слово потеряло большую часть удельного веса. Однако за границей тоже много свобод, но там слово, как мне кажется, весомей — оно жестче связано с нравственностью; у нас ведь политики не уходят в отставку при деяниях, которые на Западе вызывают ее безусловно... Здесь вот такая случилась история: целый круг людей (к которому принадлежал и я) потерял, когда осела стена советской власти, на некоторое время равновесие — потому что все мы так или иначе к ней привалялись. Потом равновесие было найдено. Было очень приятное чувство самостояния — мы обнаружили, что у нас есть свой позвончик и нам не надо приваляться к посторонним твердым телам. Это дилолось года три... Тогда ты себя чувствовал гражданином, литератором, не обижался на жизненные невзгоды, потому что у тебя не было иллюзии, что жизнь — это рай, все невзгоды были объяснимы и ожидаемы. Главное, что истукпало бытовые неурядицы — это приятное чувство гражданского соподания с собственной страной. Оказалось, что без конфликта, при котором мы родились и выросли и который нам казался единственно возможной формой существования личности с государством, можно жить. Чувство гражданской солидарности и приязни оказалось вполне отградным и полноценным чувством. Сейчас это изменилось в связи с войной в Чечне. Влезать заново в шкуру оппозиционера не хочется, а главное, в нее уже не влезешь. Если сегодня кто-то встанет на Красной площади с плакатом, никому до него не будет дела, в конце концов он проголодается, озябнет и уйдет. При советской власти можно было сделать жест непричастности к ней. И этот жест был и тебе, и окружающим очевиден как поступок. Сейчас, в силу утраты значимости слова и отсутствия жесткой повязанности слова с нравственным выбором, перестаешь чувствовать среду, оказываешься, как в невесомости. Не очень понятно, как себя вести, а чувство мира с собой (которое было в течение этих трех лет) утрачено... Снова появилось тягостное ощущение вины, бессилия и замаранности.